

— Очень люблю эти как будто всегда существовавшие строки Семена Гудзенко: «У каждого поэта есть провинция». Моей литературной «провинцией», как это ни странно прозвучит, стала Москва. Она и впрямь была чуть-чуть провинциальна, столица моего детства, с ее переулками и заросшими дворами, еще не затронутая великим строительством, такая разностильная и вместе с тем прекрасная, единая в своей разнolikости. Город, в котором рос и к которому испытывал нежность.

Я родился в доме, где жил еще мой дед, узник царских тюрем. Тут же в бывшем Машковом переулке стоял и дом, куда мы вскоре переехали. Он имел родословную: здесь Ленин слушал «Аппассионату» в исполнении пианиста Добровейна, здесь жили Чаплыгин, Гамалей, Пешкова... Построенный в прошлом веке, дом нес в себе ощущение тайны. Вместе с ним в моем младенческом еще сознании появилась, чтобы закрепиться навсегда, и своя, самая дорогая, «провинция» великого города — мир Чистопрудных улиц.

Наш разговор не случайно начался так: о чем бы ни писал Владимир Амлинский, во всем присутствовала Москва. Она входила в жизнь героев его ранних рассказов подмосковными «станциями первой любви», звучала «музыкой на вокзале» им, уже выросшим и уезжающим отсюда на встречу серьезным испытаниям — в Среднюю Азию, на целину или на

таежные сибирские стройки; она возникла позже и в самих названиях его произведений — романа «Нескучный сад», сборников «Московские страны», «Бывший Машков переулок».

— Владимир Ильич, образ любимого города как-то особенно ностальгически воссоздан вами на страницах последнего по времени романа «Борька Никитин (Ремесло)». При чем это не только Москва вашего довоенного детства, но и Москва конца 50-х — начала 60-х годов, когда вы входили в литературу...

— Да, роман — в чем-то признание в любви этому времени, моему поколению с нашей ломкой, переоценкой ценностей, трудным, но по-своему счастливым становлением. Атмосфера художественного вуза, где учатся мои герои, во многом напоминает атмосферу ВГИКа, сценарный факультет которого я заканчивал. Да и Борька Никитин — мой очень близкий друг, к сожалению, рано ушедший из жизни. Его образ владеет мной настолько сильно, что я даже не смог изменить имя и фамилию. Наверное, напрасно: ведь в книге он зажил другой жизнью, хотя биографически, казалось бы, той же — родился в волжском городке, детство совпало с войной, учился в Москве...

Но литература — всегда «другая жизнь». Например, меня часто спрашивают: «Почему живопись?» Конечно, Борька Никитин немного занимался и ею. Но ведь дело не в этом. И даже не в том, что живописью увлекаюсь я сам. Главное, на этом материале можно зримее показать творческий процесс. Меня всегда интересовала тема художника, жизнь которого — никогда не завершающийся поиск. За свою историю человечество создало уже столько культурных ценностей, что их и так хватило бы на века. И тем не менее каждый одаренный человек приходит в этот мир с чем-то своим и тратит целую жизнь для того, чтобы осуществиться. Не потому, что впереди его обязательно ждет удача. Просто потому, что таков закон творчества. Если вы помните, в романе есть Мастер, всеми признанный, любимый учениками, и вот в какой-то момент он раскрывается с неожиданной стороны, говорит герою, от лица которого ведется повествование:

Беседа за рабочим столом

Владимир АМЛИНСКИЙ:

У ЗАМЫСЛА В ПЛЕНУ

«Нельзя, чтобы и у него не получилось». Говорит вроде бы о Борьке Никитине, но не только о нем — о себе тоже, предвеля огромные счет. Вот это «предельное» отношение художника к миру и к самому себе для меня здесь главное.

— Всегда ли сюжеты подсказывают вам жизнь?

— Я не люблю их сочинять: в основе всегда должна быть реальная история, собственный опыт. Я хорошо знал Эрнста Шаталова, прикованного болезнью к постели, но не сдавшегося. Был знаком и с Иваном Лаврентьевым, о котором написал очерк в «Литературной газете». Многие из этой судьбы я взял для героя романа «Возвращение брата», человека без определенных занятий, ранее судимого. Но доля мысли, конечно, велика. Даже в автобиографии человек отчасти создает свою собственную личность, делает ее такой, какой хотел бы видеть, даже в дневниках есть некоторый элемент самосоздания. Я уж не говорю о художественном произведении, которое всегда — преображенная действительность...

— Может быть, потому, что вы идете от реальных событий, у ваших произведений, как правило, открытые финалы? Ведь жизнь не столь час-

то ставит точку, могут быть разные варианты...

— Пожалуй, что так. Только смерть вносит необратимые коррективы. Вот тогда точка. От этой точки, вернее, от неприятия ее — повесть об Эрнсте Шаталове. Стоя в траурном зале, прощаясь с Эрнстом навеки, я мгновенно и остро понял: вот сейчас с ним навсегда уйдет целый мир, который не должен исчезнуть бесследно. Раньше я не собирался писать о нем, но в эти несколько минут родилась повесть, на сей раз с вполне определенным финалом. А во многих других моих вещах финалы действительно открытые — жизнь продолжается...

— Вас называют писателем юности. В известном смысле это так: ваши герои молоды, да и проблемы вы исследуете этого прекрасного, трудного возраста. Но вот уже в первой повести «Тучи над городом встали», главная тема которой, если использовать формулу Ю. Трифонова, «детство, школа, война», возникает и тема другого поколения, тема отца. Роман «Нескучный сад», отцу посвященный, рассказывает о трех поколениях московских интеллигентов — о старшем, да и в «Ремесле» запомнились образы старшего Мастера и старика Акундинова. Чем интересен для вас этот возраст?

— Видите ли, в чем дело, Ю. Трифонов в рецен-

зии на мою повесть, о которой вы упомянули, сказал замечательные слова: «Я не верю людям, которые говорят: «У меня было ужасное детство» или: «У меня было очень тяжелое детство». Детство не может быть ни ужасным, ни очень тяжелым, ни плохим. Детство — это дар. Человек не может прожить два детства, ему не с чем сравнивать». В какой-то мере эти слова относятся и к юности, которая тоже всегда дар. Да, она не только прекрасна, но и трудна, и в чем-то трагична, но она всегда прекрасно трудна и прекрасно трагична, потому что у нее есть большой жизненный запас. Иное дело старость — возраст подлинного трагизма. Меня всегда интересовала тема ухода жизни, ее излета, когда дух по-прежнему мощен и так много еще можно сделать, но, увы... А кроме того, в теме старшего поколения важен для меня один очень личный мотив. Я имею в виду своего отца. Он был ученый, биолог. Но занимался не только чистой наукой — в тридцатые годы много сил отдал борьбе с беспризорностью, заведовал трудкоммунной. К нему приходили очень грязные, голодные, ожесточившиеся ребята, и он возился с ними. Видимо, тогда уже проявился педагогический дар, который позже был так заметен в его работе ученого, заведующего кафедрой. Может быть, это его интерес к обездоленному, чем-то искореженному детству передался мне. Может быть, отчасти поэтому меня так остро затронула тема трудных подростков, с которой не расстаюсь до сих пор. Не хочется употреблять слово «идеал», но он действительно был идеалом для меня — всегда хотелось учиться у него, в чем-то подражать. Хотя мы и спорили яростно, наши отношения были отнюдь не благозвучными, но, наверное, отношения и не могут быть благозвучными, если они настоящие... Я говорю об этом так подробно, потому что думаю сейчас над книгой о нем, почти документальной.

Есть в его судьбе моменты, выходящие за рамки сугубо личные. В самые трудные времена он отстаивал правду науки и остался для меня навсегда воплощением лучших черт русской интеллигенции.

— Над чем еще вы сейчас работаете в канун своего пятидесятилетия?

— Есть одна книга, которую я много раз начинал и к которой постоянно возвращаюсь. Она связана с городом, сыгравшим большую роль в моей судьбе, — Севастополем. Здесь я стажировался когда-то на флоте, здесь прошли, может быть, лучшие месяцы моей юности. Я прикипел душой к этому городу, дышащему романтикой; его напоены камни и море, атмосфера Грина жива тут для меня, как нигде, — в улицах Корабельной стороны, в самых обыкновенных двориках, на берегах Балаклавы. Романтическое сегодня очень необходимо человеку, но не красиво-несбыточное романтическое, а подлинное — то, которое несет в себе историю, а она обнаженно чувствуется здесь. Город, прошедший через две обороны, знает традиции мужества. Помнит он и имена Толстого, Пирогова, Тотлебена... Дорог для меня Севастополь и людьми, моими друзьями. Ближайшего из них, к несчастью, уже нет. Это Дмитрий Николаевич Ткаченко. Патриот Севастополя, он почти мальчишкой ушел на фронт, дошел до Германии, потом вернулся в родной город, восстанавливал его, работал журналистом. Он любил этот город, был очень предан ему, был поэтом его... И вот я снова возвращаюсь к этой книге. Что это будет? Роман-эссе? Повествование с историческими отступлениями? Пока не знаю. Да и боязно говорить о своих творческих планах. Вот ведь какая хитрая штука: чем больше говоришь, тем меньше они сбываются. И наоборот: молчишь, еще сам до конца не предположишь, к чему обратишься на сей раз, и вдруг наступает момент какой-то мгновенной импровизации, и ты уже не властен над собой, уже у замысла в плену.

Беседу вел
Е. ЯКОВИЧ

Инт. зап., 1985, 1466.